

Евгений Замятин

О ЛИТЕРАТУРЕ, РЕВОЛЮЦИИ, ЭНТРОПИИ И О ПРОЧЕМ

— Назови мне последнее число, верхнее, самое большое.

— Но это же нелепо! Раз число чисел бесконечно, какое же последнее?

— А какую же ты хочешь последнюю революцию?

Последней нет, революции — бесконечны.

Последняя — это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо, чтобы дети спали спокойно...

Евг. Замятин. Роман «Мы»

Спросить вплотную: что же такое революция?

Ответят луи-каторзно¹: революция — это мы; ответят календарно: месяц и число; ответят: по азбуке. Если же от азбуки перейти к складам, то вот:

Две мертвых, темных звезды сталкиваются с неслышным оглушительным грохотом и зажигают новую звезду: это революция. Молекула срывается со своей орбиты и, вторгшись в соседнюю атомическую вселенную, рождает новый химический элемент: это революция. Лобачевский одной книгой раскалывает стены тысячелетнего Эвклидова мира, чтобы открыть путь в бесчисленные неевклидовы пространства: это революция.

Революция — всюду, во всем; она бесконечна, последней революции — нет, нет последнего числа. Революция социальная — только одно из бесчисленных чисел: закон революции не социальный, а неизмеримо больше — космический, универсальный закон (universum) — такой же, как закон сохранения энергии; вырождения энергии (энтропии). Когда-нибудь установлена будет точная формула закона революции. И в этой формуле — числовые величины: нации, классы, молекулы, звезды — и книги.

* * *

Багров, огнен, смертелен закон революции; но это смерть — для зачатия новой жизни, звезды. И холоден, синь, как лед, как ледяные межпланетные бесконечности, — закон энтропии. Пламя из багрового становится розовым, ровным, теплым, не смертельным, а комфортабельным; солнце стареет в планету, удобную для шоссе, магазинов, постелей, проституток, тюрем: это — закон. И чтобы снова зажечь молодостью планету — нужно зажечь ее, нужно столкнуть ее с плавного шоссе эволюции: это — закон.

Пусть пламя остынет завтра, послезавтра (в книге бытия — дни равняются годам, векам). Но кто-то должен видеть это уже сегодня и уже сегодня еретически говорить о завтра. Еретика — единственное (горькое) лекарство от энтропии человеческой мысли.

* * *

Когда пламенно-кипящая сфера (в науке, религии, социальной жизни, искусстве) остывает, огненная м а г м а покрывается д о г м о й — твердой, окостенелой, неподвижной корой.

Догматизация в науке, религии, социальной жизни, искусстве — энтропия мысли; догматизированное — уже не сжигает, оно — греет, оно — тепло, оно — прохладно. Вместо нагорной проповеди, под палящим солнцем, над воздетыми руками и

рыданиями — дремотная молитва в благолепном аббатстве; вместо трагического Галилея «А все-таки она вертится» — спокойные вычисления в теплом пулковском кабинете. На Галилеях эпигоны медленно, полипно, кораллово строят свое: путь эволюции. Пока новая ересь не взорвет кору догмы и все возведенные на ней прочнейшие, каменнейшие постройки.

* * *

Взрывы — малоудобная вещь. И потому взрывателей, еретиков, справедливо истребляют огнем, топором, словом. Для всякого сегодня, для всякой эволюции, для трудной, медленной, полезной, полезнейшей, созидательной, коралловой работы — е р е т и к и вредны: они нерасчетливо, глупо вскакивают в сегодня из завтра, они — романтики. Бабефу в 1797 году справедливо отрубили голову: он заскочил в 1797 год, перепрыгнув через полтора года². Справедливо рубят голову еретической, посягающей на догмы, литературе: эта литература — вредна.

Но вредная литература полезнее полезной: потому что она — антиэнтропийна, она — средство для борьбы с обывществлением, склерозом, корой, мхом, покоем. Она утопична, нелепа — как Бабеф в 1797 году: она права через полтора года.

* * *

Ну, а двуперстники, Аввакумы? Аввакумы ведь тоже еретики?

Да, и Аввакумы — полезны. Если бы Никон знал Дарвина, он бы ежедневно служил молебн о здравии Аввакума.

Мы знаем Дарвина, знаем, что после Дарвина — мутации, вейсманизм, неоларкизм³. Но это все — балкончики, мезонины: здание — Дарвин. И в этом здании — не только головастики и грибы — там и человек тоже, не только клыки и зубы, но и человеческие мысли тоже. Клыки оттачиваются только тогда, когда есть кого грызть; у домашних кур крылья только для того, чтобы ими хлопать. Для идей и кур — один и тот же закон: идеи, питающиеся котлетками, беззубеют так же, как цивилизованные котлетные люди. Аввакумы — нужны для здоровья; Аввакумов нужно выдавать, если их нет.

* * *

Но они — вчера. Живая литература живет не по вчерашним часам, и не по сегодняшним, а по завтрашним. Это — матрос, посланный вверх, на мачту, откуда ему видны гибнущие корабли, видны айсберги и мальстремы, еще не различимые с палубы. Его можно стащить с мачты и поставить к котлам, к кабестану⁴, но это ничего не изменит: останется мачта — и другому с мачты будет видно то же, что первому.

Матрос на мачте — нужен в бурю. Сейчас — буря, с разных сторон — S.O.S. Еще вчера писатель мог спокойно разгуливать по палубе, щелкая кодаком (быт); но кому придет в голову разглядывать на пленочках пейзажи и жанры, когда мир накренился на 45°, разинуты зеленые пасти, борт трещит? Сейчас можно смотреть и думать только так, как перед смертью: ну, вот умрем — и что же? прожили — и как? если жить — сначала, по-новому, — то чем, для чего? Сейчас в литературе нужны огромные, мачтовые, аэропланнные, философские кругозоры, нужны самые последние, самые страшные, самые бесстрашные «зачем?» и «дальше?».

* * *

Так спрашивают дети. Но ведь дети — самые смелые философы. Они приходят в жизнь голые, не прикрытые ни единым листочком догм, абсолютов, вер. Оттого всякий их вопрос так нелепо-наивен и так пугающе-сложен. Те, новые, кто входит сейчас в жизнь, — голы и еще бесстрашны, как дети, и у них такие же, как у детей, как у Шопенгауэра, Достоевского, Ницше — «зачем?» и «что дальше?». Гениальные философы, дети и народ — одинаково мудры: потому что они задают одинаково глупые вопросы. Глупые — для цивилизованного человека, имеющего хорошо обставленную квартиру, с прекрасным клозетом, и хорошо обставленную догму.

Органическая химия уже стерла черту между живой и мертвой материей. Ошибочно разделять людей на живых и мертвых: есть люди живые-мертвые и живые-живые. Живые-мертвые тоже едят, ходят, говорят, делают. Но они не ошибаются; не ошибаясь — делают также машины, но они делают только мертвое. Живые-живые — в ошибках, в поисках, в вопросах, в муках.

Так и то, что мы едим: это ходит и говорит, но оно может быть живое-мертвое или живое-живое. По-настоящему живое, ни перед чем и ни на чем не останавливаясь, ищет ответов на нелепые, «детские» вопросы. Пусть ответы неверны, пусть философия ошибочна — ошибки ценнее истины: истина — машинное, ошибка — живое, истина — успокаивает, ошибка — беспокоит. И пусть даже ответы невозможны совсем — тем лучше: заниматься отвлеченными вопросами — привилегия мозгов, устроенных по принципу коровьей требухи, как известно, приспособленной к перевариванию жвачки.

* * *

Если бы в природе было что-нибудь неподвижное, если бы были истины — все это было бы, конечно, неверно. Но, к счастью, все истины — ошибочны: диалектический процесс именно в том, что сегодняшние истины — завтра становятся ошибками; последнего числа — нет.

Эта (единственная) истина — только для крепких: для слабонервных мозгов — непременно нужна ограниченность Вселенной, последнее число, «костыли достоверности» — словами Ницше. У слабонервных не хватает сил в диалектический силлогизм включить и самих себя. Правда, это трудно. Но это — то самое, что удалось сделать Эйнштейну: ему удалось вспомнить, что он, Эйнштейн, с часами в руках наблюдающий движение, — тоже движется, ему удалось на земные движения посмотреть и з в н е.

Так именно смотрит на земные движения большая, не знающая последних чисел литература.

* * *

Критики арифметические, азбучные — тоже сейчас ищут в художественном слове чего-то иного, кроме того, что можно ощупать. Но они ищут так же, как некий гражданин в зеленом пальто, которого я встретил однажды ночью на пустом Невском, в дождь.

Гражданин в зеленом пальто, покачиваясь и обнявши столб, нагнулся к мостовой под фонарем. Я спросил гражданина: «Вы что?» — «К-кошелек разыскиваю, сейчас потерял в-вон т-там» (— рукой куда-то в сторону, в темноту). — «Так почему же вы его тут-то, около фонаря разыскиваете?» — «А п-потому тут, под фонарем, с-светло, в-все видно».

Они разыскивают — только под своим фонарем. И под фонарем приглашают разыскивать всех⁵.

* * *

Формальный признак живой литературы — тот же самый, что и внутренний: отречение от истины, то есть от того, что все знают и до этой минуты я знал — сход с канонических рельс, с широкого большака.

Большак русской литературы, до лоску наезженный гигантскими ободами Толстого, Горького, Чехова — реализм, быт: следовательно, уйти от быта. Рельсы, до святости канонизованные Блоком, Сологубом, Белым, — отрекшийся от быта символизм: следовательно — уйти к быту.

Абсурд, да. Пересечение параллельных линий — тоже абсурд. Но это абсурд только в канонической, плоской геометрии Эвклида: в геометрии неэвклидовой — это аксиома. Нужно только перестать быть плоским, подняться над плоскостью. Для сегодняшней литературы плоскость быта — то же, что земля для аэроплана: только путь для разбега — чтобы потом вверх — от быта к бытию, к философии, к фантастике. По большакам, по шоссе — пусть скрипят вчерашние телеги. У живых хватает сил отрубить свое вчерашнее: в последних рассказах Горького — вдруг фантастика, в «Двенадцати» Блока — вдруг уличная частушка, в «Эпопее» Белого — вдруг арбатский быт.

Посадить в телегу исправника или комиссара, телега все равно остается телегой. И все равно литература останется вчерашней, если везти даже и «революционный быт» по наезженному большаку — если везти даже на лихой с колокольцами тройке. Сегодня — автомобиль, аэроплан, мелькание, лёт, точки, секунды, пунктиры.

Старых, медленных, дормезных описаний нет: лаконизм — но огромная заряженность, высоковольтность каждого слова.

В секунду — нужно вжать столько, сколько раньше в шестидесятисекундную минуту: и синтаксис — эллиптичен, летуч, сложные пирамиды периодов — разобраны по камням самостоятельных предложений. В быстроте канонизованное, привычное ускользает от глаза: отсюда — необычная, часто странная символика и лексика. Образ — остр, синтетичен, в нем — только одна основная черта, какую успеешь приметить с автомобиля. В Освященный словарь московских просвирен — вторглось уездное, неологизмы, наука, математика, техника.

Если это сочтут за правило, то талант в том, чтобы правило сделать исключением; гораздо больше тех, кто исключение превращает в правило.

* * *

Наука и искусство — одинаковы в проектировании мира на какие-то координаты. Различие форм — только в различии координат. Все реалистические формы — проектирование на неподвижные, плоские координаты Эвклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет, он — условность, абстракция, нереальность. И потому реализм — нереален: неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности — то, что одинаково делают новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не *realia*, а *realiogra*⁶ — в сдвиге, в искажении, в кривизне, в необъективности. Объективен — объектив фотографического аппарата.

Основные признаки новой формы — быстрота движения (сюжета, фразы), сдвиг, кривизна (в символике и лексике) — не случайны: они следствие новых математических координат.

Новая форма не для всех понятна, для многих трудна? Возможно. Привычное, банальное — конечно, проще, приятней, уютней. Очень уютен Вересаевский тупик⁷ — и все-таки это уютный тупик. Очень прост Эвклидов мир. И очень труден Эйнштейнов — и все-таки уже нельзя вернуться к Эвклиду.

Никакая революция, никакая ересь — не уютны и не легки. Потому что это — скачок, это — разрыв плавной эволюционной кривой, а разрыв — рана, боль. Но ранить нужно: у большинства людей — наследственная сонная болезнь, а больным этой болезнью (энтропией) — нельзя давать спать, иначе — последний сон, смерть.

Эта же болезнь — часто у художника, писателя: сыто заснуть в однажды изобретенной и дважды усовершенствованной форме. И нет силы ранить себя, разлюбить любимое, из обжитых, пахнущих лавровым листом покоев — уйти в чистое поле, и там начать заново.

Правда, ранить себя — трудно, даже опасно: «Двенадцатью» — Блок смертельно ранил себя. Но живому — жить сегодня, как вчера, и вчера, как сегодня, — еще труднее.

Примечания

¹ От имени французского короля Людовика XIV (Louis Quatorze), которому легенда приписывает фразу «Государство — это я».

² *Бабёф* Г. (наст. имя Франсуа Ноэль; 1760–1797) — французский коммунист-утопист, деятель Великой французской революции, руководитель движения «Во имя равенства». В 1796 г. возглавил Тайную повстанческую директорию, готовившую народное восстание. После раскрытия заговора был казнен.

³ От имени *А. Вейсмана* (1834–1914), немецкого зоолога, основателя эволюционной концепции «неодарвинизма», в которой данные цитологии об оплодотворении напрямую увязывались с дарвиновскими представлениями о естественном отборе. «*Неоламаркизм*» — совокупность разнородных концепций в эволюционном учении второй половины XIX в., общим в которых было признание наследования приобретенных признаков и отрицание формообразующей роли естественного отбора.

⁴ Судовая лебедка с вертикальным барабаном, служащая для поднятия грузов, якоря и пр.

⁵ Далее в рукописи шло: «И все же — они единственная порода настоящих критиков. Критики художественные — пишут повести и рассказы, где фамилии героев случайно — Блок, Пешков, Ахматова. Следовательно, они не критики: они — *мы*, беллетристы. Настоящим критиком *может* быть только тот, кто умеет писать антихудожественно, — наследственный дар критиков общественных. Только этот сорт критиков и полезен для художника: у них *можно* учиться, как не надо писать и о чем не надо писать. Согласно этике благоразумного франсовского пса Рике: «Поступок, за который тебя накормили или приласкали, — хороший поступок; поступок, за который тебя побили, — дурной поступок». Люди — часто неблагоразумны, и чем дальше они от благоразумия Рике, тем ближе к обратному этическому правилу: «поступок, за который тебя накормили или приласкали, — дурной поступок; поступок, за который тебя побили, — хороший поступок». Не будь этих критиков, как бы *мы* знали, какие из наших литературных поступков хорошие, и какие — дурные?»

⁶ Не реальное, а реальнейшее (лат.)

⁷ Очевидно, намек на роман В. Вересаева «В тупике» (1923).

Печатается по изданию:

Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М.: Наследие, 1999. С. 95–101, 308.